

Ноша Валентина Распутина была тяжела, ибо писать вровень с классиками девятнадцатого века практически невозможно (хотя Распутину это удалось), а чаша его, подъятая к небесам, была полна как солнечной субстанцией жизни, так и горьким полынным отваром, который щедро производит юдоль.

Уже «Деньги для Марии» обещали писателя чрезвычайного, редко-го: и по словесному, густому и крепкому письму, и по проникновению в сердца людские, занавешенные от большинства плотью поступков. Собственно, «Деньги для Марии» – сама по себе замечательная повесть, ибо мощно показывает, как трагедийный излом выявляет лучшее и худшее в человеческой породе, мощно и оригинально; но в сравнении с главной, вероятно, книгой «Живи и помни» – это ещё репетиция высоты.

«Живи и помни» даёт жизнь так плотно и веско, столь из глубин высвечивая сущность её, что полноценно встаёт в ряд с классическими произведениями лучших из лучших...

Несущая в себе новую жизнь: ребёнка, о котором мечтала, который не получался, Настёна топится, чтобы предупредить мужа, изъеденного собственным дезертирством и страхом войны...

Это – как речь на могиле Илюшеньки из «Братьев Карамазовых» – та же мощь, та же сила...

Только... есть ли выход к свету через пути страданий, которыми изломисто идут героини Распутина?

Есть ли он?

Ибо отсутствие такового не может сделать книгу значительной, ибо литература существенна лишь в той мере, в какой даёт почувствовать парение душе, прикоснуться к облакам.

А сама повесть – с её живым, хлебным языком, с нежной, такой простой Настёной, с Андреем, ощутившим, что жизнь в тупике есть световое вещество жизни: ибо как бы ни была тяжела она, это всё равно жизнь...

Далее накатят волны «Прощания с Матёрой», где образы старух, пьющих чай так, будто вот-вот к ним в гости заглянет смерть, врезаются в память алмазными гранями силы и мастерства; Матёра – книга о разрушении и стойкости: могучий «царский листвень» (чуть ли не тень Мирового древа!), несущие новое, но через разрушение, не могут сокрушить, как сокрушат они деревню, разорят кладбище...

Великолепные «Уроки французского», в сущности обжигающий стигмат сострадания, вырезаемый на сердце читателя; тут линии Достоевского и Некрасова причудливо переплетаются, точно вращаясь в современный материал скудости и бедности.

А как роскошно живописен очерк о Байкале! Вода его блестит, и берега чуть не прогибаются от обилия ягодных кустов; и дремотное в этот час бело-прозрачное море Байкала готово поделиться силой своей с читающим строки Распутина.

Книги – тёртые, сильные, с хлебом и гневом, правдой и жёсткостью – строил Распутин, как строили когда-то терема, и хотя в его книгах мало праздничного, сам факт, что были они – праздник русской литературы.

«Живи и помни» страшнее Матёры не из-за окуляра войны, а из-за ячейки памяти, которую не порвать.

...Сухая, трущаяся друг о друга картошка – коли нести её в мешке: еда «Уроков французского» переходит в гематоген и макароны, проводя линии фраз по полю новеллистического шедевра.

Матёру не отстоять, как не продлить жизнь старухам, сидящим за чаем (ах этот шамкающий мир их воспоминаний!); но дети вырастают всегда, и опыт их – круглый от получаемого добра, квадратный от причинённой боли – формирует их различно: и читателями, сопереживающими персонажам, и делегами, отвергающим гуманитарный мир.

Баня.

Баня с пауками из Достоевского – ассоциацией.

Дебри и огонь войны, и – любовь в недрах оных (и войны, и бани) – страшная, как крест.

Кресты кладбища, уничтожаемые, сжигаемые; фотографии мелькают, проваливаясь в небытие.

Оно существует: как бездна, в которой не представить ячеек света.

И... байкальская роскошь, гладкая пышность воды, неистовство растительности берегов, сборы ягод, изобилие живописи – точно фламандское нечто, а вовсе не русское выплеснуто в данность; роскошь очерка, ткущегося сочно, вкусно, сладко.

Прозаические миры звучат такой метафизикой, что любая метафизика отступает перед гуцей человеческой дебри.

3

...А когда дело дойдёт до водки, будут её передавать бережно, по бутылке, из рук в руки, тут же отпивая, хмелея...

«Пожар» Распутина неистово раскинется на страницах повествования, выхлестнется за пределы его, опалая лица сограждан, вздымаясь к небесам яростной мощью.

Персонажи пройдут чередой, представляя собой галерею советских типажей – с самоотверженностью и апатией, мудростью и наплевательством; пожар, начавшийся в восемьдесят пятом году, не сулил пепелища, которое к утру останется в повести; а один из героев, заявляя «будем жить», точно выражает стойкость русско-советского народа, который готов пережить любые пожары-кошмары, хоть наиболее бережно будет спасать водку.

Яркость повести отражает многое: и разгильдяйство, и стойкость перед огнём причудливо соединяются в русской ментальности; а язык Распутина, обладая высокою степенью пластичности и выразительности, вполне превращает местную драму в трагедийный анализ слома и раздвоя советской жизни – грядущего глобального пожара.

И тут Распутин предстаёт провидцем.

4

Жизнь и память – память тяжелее, чем боль; кристаллы света, впечатанные так глубоко в души, как будто реальность исключает их.

«Живи и помни» – сложена из фраз, чья сила в равной степени напоена страданием и млеком предшествующей литературы. Деревня примет дезертира, жена спрячет его, но их ребёнок никогда не появится на свет.

Жажда жизни, прожигающая всё на свете, война, противоречащая оной, боль людская, солью просыпанная в бездну текста.

Холод севера не способен сковать души.

...мы не умрём, впечатанные в янтарь великого текста...

Мы умрём, оставшись жить, и даже как будто и ребёнок, который должен появиться – появится, вырастет.

Проза ассоциируется с корой, покрытой неизвестными письменами, с землёй, с вечно длящейся русской трагедией.

...Старухи не желают покидать деревню – да и старухи такие, будто болтают со смертью ежедневно, чай с ней пьют.

Матёра должна быть разрушена, но зачем – не объяснить вечности, которую представляют старухи, остающиеся жить через смерть, текст, ужас, повседневность, через потерю надежд...